

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОВЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА: ОТ ФОРМАЦИОННОГО ПРОЧТЕНИЯ К ЦИВИЛИЗАЦИОННОМУ

Как ни парадоксально, революция 1917 г., как и феномен СССР в целом, остается одним из самых противоречивых и загадочных явлений в истории России. Хотя весь событийный контекст революционного кризиса от Февраля к Октябрю впечатляюще подробно – едва ли не до дней и часов – исследован историками, это порой очень мало добавляет к нашему пониманию социально-политического смысла революции, ее глубинных причин и значения в истории страны.

Несомненно, что политическая победа большевиков в 1917 г. и последующие триумфальные успехи советского социализма надолго спроецировали в сознании большей части человечества бесклассовую коммунистическую (и одновременно «россиецентричную») перспективу мирового развития, заставляя верить в то, что даже сравнительно отсталая, по всем канонам марксистской теории, страна при уникальном стечении благоприятных обстоятельств способна первой осуществить прорыв к построению принципиально нового, социально справедливого общества. После крушения СССР в начале 1990-х гг. взгляд на революцию радикально изменился: она стала рассматриваться как главный фактор, способствовавший схождению страны с единственно перспективной – либерально-капиталистической – магистральной траекторией развития и движению в исторический тупик. Полярное расхождение этих точек зрения на революцию указывает не только на их идеологическую мотивированность. Оно вскрывает и один из наиболее заметных, отмеченных в историографии реальных парадоксов, касающихся характера революции 1917 г.: хотя она породила мощный

модернизационный рывок, изменивший в короткий исторический срок лицо страны, открывший ее народу новые возможности в экономике, науке и культуре, некоторые ее черты носили откровенно антимодернистский характер, особенно в политической и социально-ментальной сфере [Миронов 2000: 295–296].

Еще один парадокс русской революции 1917 г. заключается в том, что она и по своим движущим силам не очень удачно укладывается в общепринятую социологическую схему, где революция понимается как, прежде всего, социально-политический переворот, приводящий к власти передовой, уже экономически доминирующий класс, который обеспечивает переход общества на новую, более высокую ступень социально-экономического прогресса. Догматический марксистско-ленинский взгляд, внушавший, согласно формационной теории, что в 1917 г. произошли две самостоятельные революции – Февральская («буржуазная») и Октябрьская («пролетарская»), сегодня уже не выдерживает критики. Очевидно, что имел место единый, непрерывно развивающийся процесс революции, который, однако, не смог утвердить у власти русскую буржуазию (что, казалось бы, должно было последовать, исходя из логики развития), но в еще меньшей степени – по недостатку объективных предпосылок, в силу ничтожной численности рабочего класса и его незрелости – допускал возможность перехода к социализму. По ее численно доминирующей, самой массовой движущей силе, революцию 1917 г. можно было бы назвать крестьянской и считать ее победоносным крестьянским восстанием, каких было немало, например, в истории стран Востока. Но всё дело в том, что крестьянство – это как раз та социальная сила, которая способна придать революции размах и конфликтную остроту, но менее всего способна выработать какую-либо определенную политическую программу, подняться на высоту исторических задач. Парадоксальность революции 1917 г., таким образом, заключается в том, что, с одной стороны, она представляла собой мощный революционный взрыв, характеризовавшийся политическим пробуждением и острым противоборством весьма широких и разнородных социальных сил, а с другой – очевидна незрелость практически всех социальных классов, которые могли бы претендовать на консолидацию распадающегося общества вокруг своих классовых интересов.

На фоне социальной катастрофы и обостряющегося гражданского противостояния к власти прорвалась группировка леворадикальной интеллигенции, которую если и можно было бы рассматривать как «класс», то «класс» исключительно политический, не имеющий корней в экономике. Главный нерв революции 1917 г. и ее судьба удивительным образом перемещаются в «надстроечную» сферу и смыкаются с идеей

политической воли «творческого» меньшинства, способного выдвинуть программу общественных преобразований (неважно – в какой степени реалистическую или иллюзорную), удовлетворяющую максимально широкий спектр социальных ожиданий. В этих политических притязаниях большевизм – хотя он и стремился опереться на «научный» социализм К. Маркса – недалеко ушел от идеологов радикального народничества, исходивших из представлений о том, что темная масса общинного крестьянства будет так же покорно сносить диктатуру «революционного меньшинства», как оно покорно сносит власть царской бюрократии [Ткачев 1976: 147–149]. Как бы такой взгляд ни шел вразрез с базовой для марксизма философией экономического детерминизма, он, по крайней мере, дважды доказывает свою реалистичность: сначала в свойствах общественной системы, которые вообще делают возможным и даже типическим возникновение подобных взглядов на политику, затем – в опыте Великой русской революции 1917 г.

Исходную нетипичность русской революции метко охарактеризовал австро-американский экономист и социолог Й. Шумпетер, полагавший, что за либеральной и социалистической критикой русского самодержавия «совершенно потерялась та простая истина, что эта форма правления не менее точно соответствовала породившей его социальной структуре, чем парламентская монархия в Англии или демократическая республика в Соединенных Штатах». По его мнению, «царизм как раз имел широкую опору среди огромного большинства всех классов» и, вместе со всей его бюрократией, частичными реформами в аграрном секторе, покровительством промышленности и нетвердым движением к выхолощенному варианту конституционного строя, был вполне органичен тому умеренному темпу социальной эволюции, который наблюдался в российском обществе. Если бы не напряжение войны, вызвавшее дезорганизацию фронта и тыла, этот неустойчивый баланс между старым и новым мог бы выдерживаться и дальше, лишь постепенно смещаясь к победе новых начал [Шумпетер 1995: 422–423].

Отдельного обсуждения в этом же контексте заслуживает вопрос о всемирно-историческом значении русской революции 1917 г., о котором в свое время много говорилось и которое невозможно подвергать сомнению уже в силу размеров и глобального значения самой страны, обратившейся к реализации еще невиданного в истории эгалитарно-утопического социального эксперимента. Однако еще до краха СССР в 1991 г. и уже после него рядом западных интеллектуалов вполне убедительно было доказано, что если советский социализм и составлял на определенном этапе мощную альтернативу западному капитализму, то не в социальном,

а исключительно геополитическом и цивилизационном отношении [Камю 1990: 286–291; Валлерстайн, 2003: 18–28]. Несмотря на глобальные амбиции, советский социализм не стал вдохновляющим примером ни для одной из стран западного мира, но зато его модель, удачно накладываясь на туземные добуржуазные традиции, обрела свое государственно-политическое воплощение в целом ряде незападных обществ – по крайней мере, на более или менее самостоятельной основе на слабо развитой восточноевропейской периферии (Югославия, Албания) и ряде стран Азии (Китай, Вьетнам) [Huntington 1996: 52–53]. Это если и не сужает значение революции 1917 г. до самобытно-русского явления, то заставляет видеть в ней совершенно особое цивилизационное содержание, которое лишь маскировалось в одежды марксистской идеологии.

Эти парадоксы и противоречия – наглядное проявление всё большего несоответствия особенностей русского исторического процесса упрощающему, догматическому «детерминизму», унаследованному как от марксистской, так и от либерально-буржуазной теорий, с помощью которого объясняли характер революции 1917 г. и феномен советского социализма. Заметим, что и марксизм, и буржуазный либерализм не только противоположны в своем понимании советского социализма, но и имеют принципиальную общую черту – западное происхождение и, следовательно, выводимость их основных положений из логики исторического развития западной цивилизации. В этой связи русская революция, возможно, больше чем любое другое событие отечественной истории нуждается в теоретическом переосмыслении в категориях цивилизационного своеобразия.

Теперь мы имеем еще одну опорную точку для понимания русского исторического процесса – «младороссийскую», антикоммунистическую революцию 1991 г., которая покончила с советским социализмом и природа которой остается, под углом зрения формационной теории, еще более непонятной, чем природа революции 1917 г. Сглаженно-мягкий, почти мирный характер переворота 1991 г., который в целом остался как будто в рамках сохраняющихся основ гражданского порядка, однако, не должен вводить в заблуждение. Как ни рискованны вообще могут быть исторические параллели, но ситуация поздней перестройки конца 1980-х – начала 1990-х гг. продемонстрировала нам примерно ту же анатомию основного общественного конфликта, что и в феврале 1917 г., – тотальный взрыв общественного недовольства (что характерно – со стороны практически всех групп общества) против господства обанкротившейся партократии (в 1917 г. – царской бюрократии).

Действительно, в самой природе основного конфликта обе революции удивительно схожи, и суть этого сходства, возможно, точнее всего, но на

примере еще одной, потерпевшей поражение, революции – 1905 г., образно выразил С. Ю. Витте: «...Главная причина нашей революции – это запоздание в развитии принципа индивидуальности, а, следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в том числе и гражданской свободы. Всему этому не давали развиваться естественно, а так как жизнь шла своим чередом, то народу пришлось или давиться, или силою растопыривать оболочку; так пар взрывает дурно устроенный котел – или не увеличивай пара, значит, отставай, или совершенствуй машину по мере развития движения» [Витте 1991: 506].

Этот политический диагноз ясно прочитывается и в Манифесте от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании Государственного порядка» – документе, который создавался при непосредственном участии С. Ю. Витте и знаменовал вступление России в полосу революционных потрясений. В привычных категориях формационной теории, его содержание можно интерпретировать как сдачу позиций пережившей свое время феодальной монархии силам, выступающим за буржуазно-демократические преобразования. Между тем, семантика той модели общества, которую в Манифесте воссоздает самосознание власти, вовсе не привязана к идее стадильности исторического процесса и к борьбе за лидерство тех или иных социальных сил. Обострившийся конфликт предстает здесь как имеющий более глубокую и в то же время более абстрактную природу. Это, скорее, конфликт между двумя принципами организации общества: с одной стороны, традицией обязательственных, «служебных» отношений подданных по отношению к государству («долг») и, с другой – нарастающей с общим ходом прогресса потребностью в расширении их личных и частных прав («гражданская свобода») [ПСЗ РИ 1908: 754–755]. В этом конфликте довольно трудно (и едва ли возможно) провести четкий водораздел между противоборствующими социально-классовыми силами; в определенный момент он предстает, скорее, как конфликт государства и общества.

Если переводить конкретный ход событий 1905 и 1917 гг. на язык социологии, то мы увидим ситуацию усугубленного бедствиями войны всеобщего социального взрыва против стеснительных уз и недееспособности бюрократической системы. Всеобщему характеру возмущений очень точно соответствовала та концентрация всевозможных противоречий, которые накопились в русском обществе к началу XX в. (неразрешенность острейшего земельного вопроса, сословное неравноправие, национальный вопрос, фискальная сверхэксплуатация общества, продовольственный кризис, множасьщиеся в военной обстановке дисфункции бюрократического управления). Перед нами, по сути, почти классическое проявление «закона убывающей бюрократической эффективности»,

выведенного К. А. Виттфогелем применительно к социальным переворотам, совершавшимся время от времени в аграрных обществах Востока и приводившим нередко, в случае успеха, к полной инверсии существующего социального порядка [См.: Wittfogel 1967].

В России 1917 г. вся борьба партий и программ, происходившая в «верхнем слое» политики, в конечном счете, зависела от колебаний в настроениях наиболее массовой движущей силы революции – крестьянства, благодаря войне и мобилизации в армию оказавшегося стремительно втянутым в горнило активной городской политики. При всей настойчивости требований разрешения острейшего земельного вопроса, крестьянство являлось социальной группой, приверженной смутным традиционным идеалам «правды» и «справедливости», и в силу этого, как отмечалось выше, неспособной возвыситься до выдвижения в ходе революции самостоятельной политической программы. Очевидно, что исход борьбы за власть в этих условиях был абсолютно «незапрограммированным» и зависел от того, какой политической силе удастся «оседлать» эту стихию победоносного крестьянского восстания. В 1991 г. социальное недовольство в такой же степени сопровождалось экономическим кризисом, носило всеобщий, хотя и разнородный характер и концентрировалось против всевластия и бездарного управления «аппарата». И вновь политическая власть переходит к той группировке, которая лучше умела подыграть массовым настроениям, на это раз склонявшимся к идеалу уже не уравнительной социальной справедливости, а «всеобщего» буржуазного благоденствия.

Продолжая эти сравнения, можно также указать на поразительную легкость и стремительность свержения правящего режима в 1917 и 1991 гг., что как раз объясняется кумулятивным эффектом всеобщего социального взрыва, который сносит этот режим. Однако очень скоро эта слабая расчлененность в общем революционном потоке и хаотичная разнонаправленность социальных сил и программ приводит к затяжному кризису власти. Внезапно выясняется, что ни одна из участвующих в революции политических группировок не имеет столь глубокой и разветвленной связи с народной массой, какой обладал свергнутый режим. Отсюда тот характерный паралич дееспособности, который демонстрировало Временное правительство в период с февраля по октябрь 1917 г., пока наконец всё более сужающейся возможностью выхода из кризиса власти не воспользовались большевики. После распада СССР в 1991 г. подобный период неопределенного состояния власти в России продолжался, по крайней мере, до осени 1993 г., но ее глубокий кризис был окончательно преодолен только к концу 1990-х гг.

Возможно, две точки революционного слома системы – не очень надежная база для далеко идущих выводов. Тем не менее, они позволяют разделить российскую историю последних двух-трех столетий на три периода – имперский, советский и постсоветский. При всех различиях между ними, можно уловить и их принципиальное сходство. Оно предпослано тем, что в рамках определенного социально-исторического субстрата, при всех преобразованиях одной исторически преходящей общественной системы в другую между их элементами сохраняется некоторая совокупность неизменных отношений и правил, которая выражает глубинную ценностно-смысловую, или, иными словами, цивилизационную, основу существования данного исторического организма. При внимательном анализе все три периода российской истории можно считать историческими модификациями одного и того же глубинного структурного инварианта, постоянство которого описывается способом взаимодействия власти и общества. Американский историк Р. Хелли характеризует эту определяющую для всех периодов российской истории модель политических отношений как «служебное» государство [Hellie 2005: 89–90], а известный российский историк и историософ Ю. И. Семенов называет ее «политарной» общественной системой, наделяя ее, правда, в рамках старого подхода, статусом отдельной и самостоятельной «формации» [Семенов 2003: 476].

Каковы же происхождение и сущность этого структурного инварианта, воплотившего в себе цивилизационное своеобразие русской истории?

На рубеже XVI–XVII вв. мировое развитие было отмечено двумя фундаментальными революционными сдвигами. Первым из них стало возникновение капитализма, за которым последовал и определенный тип социально-политического развития, приводящий или сразу, или через ряд ступеней к власти экономически господствующий класс буржуазии. Вторым сдвигом стало возникновение рационалистической концепции «абсолютного» государства как совершенного средства, позволяющего власти благодаря созданной ею бюрократической машине осуществлять всеобъемлющий высокотехнический контроль над обществом [Шмитт 2006: 172–173]. Несмотря на то, что в европейских обществах эти два ингредиента системной революции в разных пропорциях сопутствовали друг другу, в качестве смысловых доминант они сформировали отчетливую историческую «развилку». Если общества Запада, как это описывает Марксова теория, двинулись по пути свержения феодализма к буржуазной эмансипации и становлению парламентарных государств, то на восточной периферии Европы более отсталые общества, поставленные перед необходимостью модернизации и осуществления широкого круга военных задач, пошли по пути укрепления и совершенствования абсолютистских

политических режимов, породив оригинальный исторический тип т. н. военных империй. Заметим, что, с точки зрения эффективности производственной функции, каждая из двух моделей развития имела свои преимущества: первая – креативную силу частного экономического интереса, вторая – мобилизующую мощь государства, возникшую из гипертрофированного развития его военно-фискальной функции. Механизм конвертации военно-политической мощи в экономические преимущества в системе военных империй раннего Нового времени убедительно объясняет шведский историк Я. Глете. С одной стороны, рост фискальной нагрузки на общество, связанный с созданием сильной армии и возможный только благодаря функционированию отлаженного бюрократического аппарата, – это оправданная «плата» государству за создание эффективной и надежной защиты этого общества и улучшение общих условий его экономической жизни (предсказуемый порядок жизни, силовые методы экономической экспансии и т. п.). С другой стороны, способность государства аккумулировать в своих руках громадные средства и маневрировать ими обеспечивала преимущества «комплексной организации» – более рациональное ранжирование приоритетов при использовании ресурсов, их концентрацию и возможность инновационного приложения [Glete 2010: 1–2, 3].

В России, начиная с Петра I, в результате синтеза заимствованных из Европы новаций бюрократической рационализации и традиционной основы патримониального государства – неограниченной власти монарха-самодержца, произошло своего рода «замыкание контура»: возникла чрезвычайно устойчивая, просуществовавшая без больших изменений более двух столетий абсолютистская система, во многих отношениях, как писала американская исследовательница Т. Скокпол, «более эффективная..., чем где-либо на Западе» [Skocpol 1979: 82]. К. Д. Кавелин «корень и сущность» этого исторического и поразительно прочного типа государства видел в том, что он естественно вырос и развился из вотчинного ядра владений московских князей и продолжал воплощать собой принцип *des Guts- und Hausherrn* (домохозяйство), который затмевал собой все другие прототипы и внешние влияния [Кавелин 1989: 159]. Как хозяин держит под неослабным контролем все участки своего хозяйства, как и все нити управления им, – так и «вотчинное» государство, рассматривая себя как верховного собственника и распорядителя всех богатств страны, подчиняет своему контролю все существующие в обществе социально-экономические уклады: дворянско-поместный, крестьянско-общинный, купеческо-мещанский, а затем и капиталистический. Примечательно, что за три столетия существования самодержавия этот принцип в самосознании власти практически не изменился. Симптоматично, что Николай II в ответах на

вопросы первой Всероссийской переписи населения 1897 г. определил свой род занятий в полном соответствии с патримониальной традицией: «Хозяин земли русской» [Ерошкин 1975: 6]. Представление о том, что в пределах большой политарно-хозяйственной «оболочки», обнимающей всё общество, государство не сковано никакими правовыми ограничениями и вправе совершать любые преобразования отношений собственности во имя общих интересов государства, прочно держалось в сознании даже образованной части русского общества.

При этом условия страны, вынужденной постоянно обороняться против сильных противников, сообщали еще больше прочности этой властно-политической конструкции, делая страну подобием единого «военного лагеря», где высшая государственная власть не только подчинила себе все существующие экономические уклады, но и придала весьма еще аморфному социальному агрегату общества по-военному четкую организацию, обязав каждое сословие нести в пользу государства различные службы, повинности и тягла. В отличие от Запада, русские сословия были созданы абсолютистским государством не как автономные субъекты социально-экономической системы, но как ее служебные элементы, всецело подчиненные воле государства [Пазухин 1886: 44].

Чрезвычайно прочные основания такого порядка сообщали абсолютистской монархии черты почти «вечного», освященного сакральной традицией вневременного института, который самим фактом своего существования как бы «выпадал» из стадиальной эволюции политических форм, типичной для европейского Запада. Даже в глазах русской либеральной общественности шаблонный марксистский взгляд на самодержавие как на «диктатуру помещиков» – феодальную монархию, медленно и вынужденно эволюционирующую в монархию буржуазную, как на ретроградную силу и тормоз общественного развития – воспринимался как упрощенный и далекий от реальности. Например, либеральные профессора, выпустившие в 1905 г. труд «Политический строй современных государств», однозначно характеризовали русский абсолютизм как особый, отличный от феодализма государственный тип – «военно-национальное государство» [Политический строй... 1905: VI–VII], а С. Ю. Витте дал ему еще более лаконичное и точное определение – «военная империя» [Витте 1991: 509].

Каковы наиболее характерные черты этой «политарной» системы? Во-первых, русская абсолютистская монархия до конца не связывала себя с интересами какой-либо социально-сословной группы, предпочитая руководствоваться принципом «всеобщего блага», впервые обоснованным Петром I в манифесте «О вызове иностранцев в Россию...» от 16 апреля 1702 г. [ПСЗ РИ 1830: 192–193]. Это в полной мере относится даже

к дворянству. Оно, бесспорно, длительное время составляло единственный привилегированный и образованный класс страны, в массовом порядке поставлявший кадры для военной и гражданской службы; в истории России можно даже выделить этапы, когда правительственная политика могла быть охарактеризована как отчетливо продворянская (например, при Екатерине II). Однако, как отмечает Д. Ливен, начиная с реформ Петра I, который обременил дворянство довольно тяжелой службой, одновременно открыв в него доступ представителям других сословий, его судьба в целом испытала трансформации, плохо соотносимые с его положением как господствующего сословия. В силу возраставшей гетерогенности своего состава с точки зрения богатства, культуры, экономических и профессиональных интересов, дворянство не превратилось в единый класс, но и не стало правящей элитой – прежде всего, в силу тотальной подчиненности государству и отсутствия самостоятельных политических институтов, которые бы позволяли ему контролировать государственную машину и эффективно отстаивать свои интересы [Lieven 1996: 228–229]. Если самодержавие, в силу компромисса с традицией, прочно связало дворянство с государством, то на первом месте в этой связке определенно стояли интересы государства. Еще меньше можно было подозревать русское самодержавие в пробуржуазных симпатиях. Осознавая связь между прогрессом экономики и ростом капиталистического предпринимательства, государство, естественно, поощряло развитие промышленности и торговли. В то же время многие исследователи справедливо замечают, что, несмотря на успехи развития капитализма в пореформенный период и рост частнособственнических настроений, не только широкие слои русского общества, но и многие фракции государственной бюрократии были настроены антибуржуазно. В недрах правительственного аппарата мы можем обнаружить не только элементы продворянской или пробуржуазной политики, но и социально-патерналистской, почти «социалистической». Американский историк П. Холквист считает возможным даже говорить о специфической идеологии (или «институциональной культуре») ряда ведомств – прежде всего, Главного управления землеустройства и земледелия, чиновникам которого, по его мнению, был присущ «антикоммерческий, технократический этос» – этатистская вера во всемогущество государственной организации в деле повышения народного благосостояния и в необходимость сдерживания негативных социальных последствий, характерных для капитализма западноевропейского типа [Holquist 2010: 151–152]. Это очень напоминает то, как капитализм воспринимается и в современном российском обществе. В интересах самосохранения абсолютистское государство пыталось, хотя и тщетно, не допускать кор-

румпированного сращивания бюрократии с интересами капитала и отставало могущество «чистой» власти. В самосознании самодержавия подозрительное отношение к частному началу, к расширению прав граждан мотивировалось опасениями, что это отвлечет народ от исполнения своего долга перед государством. Это делало самодержавие – и не иллюзорно, но вполне реально – как бы «парящим» над сословным обществом, придавая ему черты надклассовой монархии. В намерениях власти просматривалась не только прагматика государственного интереса, но и мотив попечения над сословиями. Хотя сохранение в России крестьянской общины часто рассматривается только с точки зрения удобного для правительства средства фискальной эксплуатации деревни, многие оппоненты самодержавия, в частности Н. Г. Чернышевский, находили в этой политике много положительного. Община виделась ему не только основой будущего социализма, но и проявлением искреннего намерения власти «сохранить участие огромному большинству нации во владении недвижимой собственностью», избавляя его от бедствий пауперизации [Чернышевский 1877: 109].

Во-вторых, секрет устойчивости и долговечности абсолютистско-имперской политической формы в России, ее полиморфности и многоликости заключался в ее способности вместить в свое «политарное» пространство множество социально-экономических и культурно-бытовых укладов, выражающих разные, порой далеко отстоящие друг от друга стадии исторического прогресса, например крупный промышленный капитализм и отсталое крестьянское хозяйство. Единственной безусловно заинтересованной в существовании такой системы социальной группой можно считать военизированную государственную бюрократию. В той мере, в какой этот тип бюрократии социально не был связан ни с одним классом и не имел иного интереса, кроме самодовлеющего интереса государства, он являлся удобным и гибким инструментом управления очень сложным и разнородным обществом, позволявшим, к тому же, маневрировать ресурсами, используя фискальную эксплуатацию деревни в качестве источника накопления капиталов для развития промышленности. На этой политике была основан специфический характер проводимой самодержавием политики «взращивания» капитализма. В то время как сектор крупнокапиталистической промышленности поощрялся к развитию созданными для него «тепличными» условиями (щедрыми субсидиями, казенными заказами и т. п.) и потому воспринимался часто как искусственный нарост на теле «народной» экономики, обремененная фискальными поборами и крепостническими пережитками отсталая крестьянская экономика, при других условиях могущая служить почвой для

широкого роста капитализма «снизу», характеризовалась крайне медленной эволюцией в буржуазном направлении. В России имел место хорошо знакомый нам по странам «третьего мира» эффект «двойной экономики», на одном полюсе которой мы имеем субсидируемый за счет всего общества крупнопромышленный капитализм, а на другом – слабо втянутую в рыночные отношения крестьянскую экономику полунатурального типа. Абсолютистская модель модернизации порождала сильно деформированный тип развития капитализма, который в огромной степени базировался не на его собственных воспроизводственных возможностях, а на фискальной эксплуатации всего общества [Озеров 1905: VIII]. Тем не менее, таким образом обеспечивался не только определенный социальный порядок, но и развитие. Какой бы скованной бюрократическими путами ни казалась эта система, она легко «ассимилировала» в себя элементы передовой капиталистической экономики и технологические новации. Страна не изолировалась от окружающего мира, но, напротив, находясь в поле действия общемировых тенденций, демонстрировала высокую степень восприимчивости к новациям. Но при этом в сознании и государства, и общества продолжали господствовать представления о том, что все интересы и чаяния сословий могут обретать разумную форму и наилучшим образом воплощаться именно верховной властью, и если в чем-то права отдельных сословий ущемлялись, то это было обусловлено опять-таки высшей государственной необходимостью, интересами государственного целого.

В этом во многом таился и источник противоречий, присущих политике самодержавия. Парадокс заключался в том, что, находя опору в традиционном сословном обществе, самодержавие обладало возможностью мобилизации всех сил этого общества, всех его ресурсов (прежде всего, фискальных) на задачи модернизации, преодоления отставания страны от Запада. Две мощные волны модернизации – начала XVIII в. и второй половины XIX – начала XX в. целиком можно отнести к заслугам руководимой самодержавием просвещенной бюрократии. В условиях бедной страны, с низкой нормой прибавочного продукта и недостатком капиталов, только абсолютная власть, пожалуй, обладала неограниченными возможностями систематически осуществлять «перекачку» ресурсов всего общества на цели индустриализации, которая в свою очередь служила основой военной силы государства. Последствия такой политики были двояки.

С одной стороны, прогресс модернизации увеличивал амплитуду отрыва самых передовых эшелонов развития (т. е. промышленного капитализма) от низших социально-экономических укладов, делал общество более сложным, дифференцированным и экономически, и культурно. Это делало самодержавие уникальным институтом, способным под оболочкой

абсолютизма сохранять единство этих разностей. С другой стороны, модернизация вступала в конфликт с отношениями традиционного общества. Поощряя развитие промышленности и торговли, самодержавие невольно провоцировало эрозию, разложение традиционного общества, возникновение в обществе новых мотиваций чисто индивидуалистического, частно-буржуазного свойства. Самодержавие становилось всё более неспособным бесконфликтно соединить в своей политике цели расширения частной свободы и цели сохранения социального порядка, расширения личных прав и свобод граждан и интересы служения государству.

С этой точки зрения, самодержавие предстает чем-то гораздо более сложным, чем только чудом сохранявшимся реликтом ретроградного прошлого. Р. Хелли, разбирая специфическую для России модель «служебного государства», отмечает, с одной стороны, его связь с традицией, а с другой – его восприимчивость к прогрессивным сдвигам. Снятию этого противоречия и служил столь же специфичный для России механизм «революций», сводившихся, по существу, не столько к изменению самой системы, сколько к радикальному обновлению олицетворявшего ее «служебного класса» (бюрократии) [Hellie 2005: 91–92]. Известный социолог Й. Арнасон полагает, что в существенной части Российская империя представляла собой не столько антипод, сколько структурный прототип советской модели модернизации. Он подчеркивает, что мобилизационная мощь «самомодернизирующейся» империи, хотя и покоилась на ресурсах традиционного общества, уже существенно отличалась от традиционной деспотии. По его мнению, абсолютистская империя, являясь движущей силой и главным актором изменений, обеспечивала их радикализацию, но при этом сама со временем становилась не противовесом гражданскому обществу, а, напротив, стремилась стать концентрированным и динамичным выражением потенциала его «самотрансформации». Ориентированная на модернизацию империя порождала авторитарный, «структурно деформированный», но довольно динамичный тип развития капитализма, представляющий реальную (по крайней мере, на определенном этапе) альтернативу классическому западному варианту [Arnason 1993: 19–20, 73].

Если рассматривать события 1917 г. под этим углом зрения, то мы можем констатировать, что между дооктябрьской, самодержавной Россией и возникшим в горниле революции Советским Союзом внешний радикализм полного разрыва с прошлым произвел не такие уж значительные перемены в сущностных свойствах самой общественной системы. Революция развивалась по пути всё более сужающихся возможностей выхода из состояния общественного распада, и захват власти большевиками казался просто невероятной политической авантюрой. Режим, провозгласив-

ший утопическую программу построения бесклассового социалистического общества, с позиций даже классического марксистского учения, был еще менее возможен в условиях России, не прошедшей длительную школу капитализма, чем сам капитализм. Однако, оказавшись в «ловушке» почти безвыходных обстоятельств, большевистский режим смог удержаться у власти и приступить к новой общественной «сборке» только за счет того, что в своем последующем развитии вынужден был осознанно или безотчетно не только реализовывать несостоявшуюся историческую миссию русского капитализма (индустриализация), но и подвергнуться существенной «ре-традиционализации», т.е. воскресить (конечно, с поправкой на эгалитарно-утопический компонент своей идеологии и последствия социального переворота) те стратегии и инструменты властвования, которые определялись исходным неразвитым состоянием социального агрегата тогдашнего российского общества и были во многом характерны для рухнувшего в феврале 1917 г. абсолютистского режима.

Октябрьский переворот, конечно, изменил многое, но при ближайшем рассмотрении мы можем обнаружить не только точки разрывов с прошлым, но и линии глубинной преемственной связи между дореволюционным русским прошлым и новой советской моделью:

1. Социальная пирамида общества была как будто перевернута с ног на голову, но разительность этих перемен, прежде всего, воплотилась и больше всего сказалась в полной инверсии правящего бюрократического класса, отбор в ряды которого стал происходить на основе жестких идеократических и меритократических принципов.

2. Резко усилились возможности вертикальной социальной мобильности для широких слоев населения, новая социальная система формировалась под знаком сильной эгалитаристской тенденции, но, вместе с тем, общество со временем приобрело новую иерархическую, квази-сословную организацию.

3. Частные интересы, которые и в дореволюционной России рассматривались в известном противопоставлении с государственными, были не преодолены в результате необходимых мероприятий по их интеграции, но радикально изгнаны из общественной жизни и подверглись полному запрету. Для исключения вредных влияний страна искусственно изолировалась от внешнего мира.

4. Резко усилилась мобилизационная функция государства и темпы экономической модернизации страны. При этом от фискальной эксплуатации деревни государство перешло к гораздо более жестким методам экспроприации крестьянства ради целей накопления. Это позволило осуществлять крупные задачи и проекты, но оборотной стороной это модели развития являлось то, что производство экономических ценностей несло

на себе печать бюрократического формализма, что не позволяло рачительно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечить подлинную личную заинтересованность и сопричастность работника к качеству производимого продукта. Результаты экономического развития хорошо удовлетворяли интересы государства, но очень слабо были сориентированы на потребности конкретного человека. Отсюда известная двойственность жизни: одна реальность существовала в планах и отчетах, а другая – в реальной жизни простого человека. Эффективное сочетание общественных и личных интересов оставалось большой проблемой для советского социализма.

Вместе с тем, присущие самодержавно-абсолютистскому режиму архетипы властвования, основанные на всеобъемлющем контроле бюрократии над обществом, изменились очень незначительно, а кое в чем «революционная целесообразность» большевиков отличалась даже большей жесткостью и деспотизмом. Говоря об опыте советского социализма, для понимания его природы, его достижений и недостатков, необходимо, на наш взгляд, опираться не на его скрупулезное изучение на предмет соответствия или расхождения с марксистским идеалом, а пытаться вывести его облик из саморазвития тех тенденций, которые вполне проявляли себя в предшествующей модели развития России как оригинальной самобытной цивилизации.

Список литературы

- Валлерстайн И.* Конец знакомого мира : социология XXI в. / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева ; Центр исслед. постиндустр. о-ва. М. : Логос, 2003. 355 с.
- Витте С. Ю.* Избранные воспоминания. 1849–1911 гг. М. : Мысль, 1991. 708 с.
- Ерошкин Н. П.* Самодержавие накануне краха. М. : «Просвещение», 1975. 160 с.
- Кавелин К. Д.* Наш умственный строй : статьи по философии русской истории и культуры. М. : Правда, 1989. 654 с.
- Камю А.* Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство : пер. с фр. М. : Политиздат, 1990. 415 с.
- Миронов Б. Н.* Социальная история России (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства : в 2 т. 2-е изд., испр. СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. Т. 2. 567 с.
- Озеров И. Х.* Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века. М. : Изд. Д. С. Горшкова, 1905. XII, 259 с.
- Пазухин А. Д.* Современное состояние России и сословный строй. М. : В Университетской Типографии (М. Катков), 1886. 63 с.
- Политический строй современных государств. СПб. : Изд. кн. П. Д. Долгорукова и И. И. Петрункевича, 1905. Т. 1. XIV, 652 с.
- Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание 1-е. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. IV. 890 с.

Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание 3-е. СПб. : Госуд. типография, 1908. Т. XXV, отд. I. 1109 с.

Семенов Ю. И. Философия истории : общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М. : Соврем. тетради, 2003. 775 с. (Научная библиотека «Современных тетрадей». Философия).

Ткачев П. Н. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1976. Т. 2. 645 с.

[*Чернышевский Н. Г.*] Община и государство. Две статьи Н. Г. Чернышевского. Женева : Издание журнала «Набат», 1877. XIII, 125 с.

Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса : смысл и фиаско одного политического символа / пер. с нем. Д. В. Кузницына [Центр фундам. социологии]. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2006. 299 с.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия : пер. с англ. М. : Экономика, 1995. 540 с.

Arnason J. P. The Future That Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model. L. : Routledge, 1993. XI, 239 p.

Glete J. Swedish Naval Administration, 1521–1721: Resource Flows and Organisational Capabilities. Leiden : Brill, 2010. XXIV, 816 p.

Hellie R. The Structure of Russian Imperial History // History and Theory. 2005. Theme Issue 44. P. 88–112.

Holquist P. «In Accord with State Interests and the People's Wishes»: The Technocratic Ideology of Imperial Russia's Resettlement Administration // Slavic Review. 2010. Vol. 69, № 1. P. 151–179.

Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N. Y. : Simon & Schuster, 1996. 367 p.

Lieven D. The elites // The Cambridge History of Russia. Vol. II: Imperial Russia, 1689–1917 / Ed. by D. Lieven. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. P. 227–244.

Skocpol Th. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge ; N.Y. : Cambridge University Press, 1979. XVIII, 407 p.

Wittfogel, K. A. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven; L. : Yale University Press, 1967. XIX, 556 p.